

Ан. КАЛИНИН

ИВАН СМОЛЯКОВ



Молодая Гвардия

1943

Ан. КАЛИНИН

ИВАН СМОЛЯКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1943

Редактор *Б. Евгеньев*
Подписано к печати 29/VII 1943 г.
Л40265. $^{7}/_{8}$ печ. л. 42 688 зн. в печ. л.
1,3 уч.-изд. л. Тираж 50 000.
Заказ 1019. Цена 35 коп.

Ф-ка юнош. книги изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, ул. Фридриха Энгельса,
д. 46.



I

— Обдумай, Иван. Еще не поздно, еще можно все изменить. Если у тебя какой червячок шевелится в сердце, скажи.

— Я уже все обдумал и решил. А насчет червячка — это вы напрасно, Филипп Дмитриевич. Обижаете вы меня.

— Тут нечего обижаться. Дело такое, что решать сплеча нельзя. Может быть, на верную смерть идешь... Взвесь, посоветуйся со своей совестью. Выдержишь? Устоишь?

Секретарь райкома партии испытующе смотрел в лицо Ивану Смолякову. Тот встретил его взгляд своими темными, твердыми глазами, смотревшими из-под крутого, упрямого лба. Легкий румянец проступил на скулах Ивана.

— Что вы меня, Филипп Дмитриевич, уговариваете! Или я не по своей воле иду? Если бы вы сейчас и приказали мне уходить, я бы все равно вас не послушал. Ну, куда я отсюда уйду? — Голос Ивана дрогнул, он тоскующим взглядом окинул камыши и далекую, задымленную маревом степь. — Меня сейчас от этой степи все равно, что от родной матери оторвать. И кого мне на своей земле бояться? Смерти? Так, говорят, на родине и умирать не страшно. Но я, между прочим, умирать не собираюсь. А если что и приключится со мной, дорого я им обойдусь. И выдержу, и устою я, Филипп Дмитриевич... Нет, вы сами посудите: скажем, за Волгу уеду или в Азию, — так я ведь там от тоски пропаду. Тут каждая балочка мне родная.

Иван еще раз окинул глазами белесую даль, просле-

дил полет беркута в небе, пока он не упал на далекий курган, и, глубоко вздохнув, докончил:

— Сам знаю, что на рискованную дорожку вступаю, и с совестью своей я советовался. Приказала она мне только по этой дорожке итти, а не по какой другой.

Секретарь райкома партии с удивлением и восхищением смотрел на это смуглое, чуть скуластое лицо с пухлыми, простодушными губами и веснушками на щеках. Так вот он какой, этот Иван Смоляков! Вот какие мысли бурлят за этим крутым юношеским лбом! Они и раньше по работе часто сталкивались друг с другом, но это были только деловые встречи, и каждый из них в сущности очень смутно догадывался, что за сердце бьется у другого в груди. Еще ни разу им не приходилось встречаться вот так, в откровенном и душевном разговоре, когда у человека не остается скрытых мыслей и желаний. И вот час такой встречи настал...

Шел июль тысяча девятьсот сорок второго года. Грохот великой битвы сотрясал донскую степь. Берега вольной казачьей реки затопило чумное нашествие. Немецкие танковые дивизии исступленно рвались навстречу своей гибели — к Сталинграду. Вражеская волна захлестнула и Романовский район — восточную окраину Ростовской области. Оставалась только узкая полоска вдоль реки Сал — забурьяневшие толоки, камыши, несколько хуторов в зеленых купах верб. Тридцать первого июля коммунисты и комсомольцы района собрались в камышах. Немецкие танки ходили по самой береговой черте. Их хорошо было видно из камышей, — они серыми тенями мелькали по волнистой кромке, ведя обстрел и наполняя степь густым злобным ревом. Снаряды с плеском падали в реку; осколки, остывая, шипели в воде. Последняя группа красноармейцев переправилась на противоположный берег и перестреливалась оттуда с немцами через камыши. Надо было спешить уходить

тем, кто должен был уйти, и скрываться тем, кто оставался здесь, в тылу у врага, в подполье.

В числе последних был секретарь Романовского райкома комсомола Иван Смоляков. В ответ на вопрос Филиппа Дмитриевича Огаркова: «Кто остается?», он первым подал голос:

— Я остаюсь...

И вот теперь секретарь райкома партии смотрел на него пытливыми, изучающими глазами. Он еще и еще раз предупреждал Смолякова о тех опасностях, которые могут встретиться у него впереди, советовал взвесить все трудности, может быть, принять другое решение. Иван Смоляков слушал Огаркова, смотрел на него своими темными, жестковатыми глазами и твердо стоял на своем.

«Этот не отступится», думал Огарков, с невольным уважением поглядывая на прочную, крепкого литья фигуру Смолякова. Огарков решил подвергнуть его последнему испытанию:

— А это, Иван, тебе не помешает? — спросил он, указывая глазами на правую руку комсомольца. Иван с детства не владел этой рукой.

Смоляков смутился, как смущался всякий раз, когда ему напоминали о физическом недостатке.

— Или вы и впрямь, Филипп Дмитриевич, не надеетесь на меня?

— Нет, Иван, не то, — просто я боюсь за тебя: нездоров ты, а эта профессия в первую очередь здоровья требует и даже физической силы.

— Ничего, Филипп Дмитриевич, на здоровье я не жалуюсь. — Смоляков шевельнул своими широкими плечами.—А рука моя мне даже может пользу сослужить. Ну, кто меня за партизана сочтет?.. — Смоляков усмехнулся.

Спускались сумерки. В последних лучах заката камыши казались окровавленными лезвиями. Они звенели, скрещиваясь на ветру. На обрыве, в хуторе, сиплый го-

лос на чужом языке кричал резкие слова команды. Плакала женщина. Стремительно поднялся кверху и распустился в небе огромным красным цветком столб огня. Немцы захватили последний хутор в районе. Каждую минуту они могли спуститься вниз, к реке.

— Пора, — тихо сказал секретарь райкома.

Все встали. Огарков положил руки на плечи Смолякову.

— Ну, иди, Иван, благословляю тебя, — сказал он тихо и ласково.

— Иду, Филипп Дмитриевич, — просто ответил Смоляков.

Он вошел в камыши, оглянулся, потом решительно раздвинул руками жесткие стебли и скрылся в их темной чаще. За ним остался легкий примятый след, но и он скоро пропал. Прошелестели шаги, а может быть это ветер прошумел в камышах. Где-то в отдалении одиноко стукнул винтовочный выстрел. На реке всплеснула рыба, вскрикнула ночная птица, и снова все стало тихо...

II

И вступил Иван Смоляков на партизанскую тропу, и пошел он по этой тропе навстречу опасностям партизанской жизни.

Далеко за полночь Александру Никифоровну Смолякову разбудил осторожный стук в ставню.

— Кто? — тревожно спросила Александра Никифоровна.

— Это я, мама, отвори.

— Ваня? — Отодвинув засов, она испуганно отступила от порога. — Ты? Как ты сюда пришел? Уходи сейчас же. В станице немцы. — Александра Никифоровна быстро закрыла дверь за сыном.

— Знаю, мама. Тише!.. Потому и пришел, что немцы. Поесть бы мне, оголодал за эти дни.

Она собрала ему на стол, встала возле печки, сложив руки под фартуком, и с тревогой смотрела, как он ест картошку, как откусывает хлеб, трудно двигая тугими, упрямыми желваками. Она порывалась у него спросить, но ждала, когда он заговорит первый. Что он сказал? Или, может быть, это ей только послышалось? Он знает, что в станице немцы, и потому пришел сюда? К ним пришел, к немцам? Ее сын, Иван Смоляков?

Он молча съел ужин, до дна осушил крынку молока и только тогда поднял на мать глаза.

— Да, мама, потому и пришел, что немцы, — угадывая ее мысли, повторил он. Он встал, положил ей руку на плечо, — высокий, большой. — Не к ним я пришел... Разве мог я уйти, мама?

Она поняла и, охваченная внезапным страхом за сына, самого любимого из всех ее восьмерых детей, горячо зашептала:

— Что ты, сыночек, уходи, родной, куда тебе в партизаны? Ты ведь больной, тебя здесь каждый прохожий узнает, каждый мальчонка может пальцем указать. Иди, Ванюша, сейчас ночь, может, еще скроешься, может, еще не догонят они тебя.

— Никуда я не пойду, мама, не будем больше говорить об этом...

Помолчав, она сказала:

— Не ты один погибнешь, и меня за собою потянешь. Ты об этом подумал, Ваня?

— Не наговаривай на себя, мама, ты ведь совсем не такая, я же знаю тебя...

Тогда она заплакала, припав к его груди. Они долго сидели на лавке обнявшись. Выплакавшись, мать вполголоса стала рассказывать Ивану станичные новости:

— В кино скотобойню открыли, баранов для офицеров режут. Комендант приехал, шея, как у бугая. Атаманом поставили Арькова. Ты его должен знать.

— Тот, что семечками торговал?

— Он самый... За голову каждого партизана десять тысяч обещали...

— Дешево они наши головы оценили, — улыбнулся Иван.

— Ты что, Ваня?

— Так, ничего. Рассказывай, мама.

Они сидели до самых петухов, пока в щели ставен не просочились розовые ручейки рассвета. Александра Никифоровна забеспокоилась.

— Развиднелось, Ваня. Куда же мне тебя схоронить?

— Постели мне, мама, на печке: я спать хочу. Соседок в эту комнату не пускай: донести — не донесут, а разболтать могут.

Он проспал до самого вечера. Александра Никифоровна замкнула дверь на замок и ушла к соседке. А вечером Иван пошел к своему старому другу, Василию Кожанову. Вдвоем они всю ночь о чем-то прошептались в горнице. Жена Кожанова из соседней комнаты слышала обрывки их разговора.

— Действовать, Вася, надо, действовать, чтобы с первого дня они нашу руку почуяли, — говорил Смоляков.

— Одним? — спрашивал друга Кожанов.

— Зачем одним? Один в поле — не воин. Разве мало наших людей? Только гукни — весь район подымется. Или мы все эти годы зря в народе семена бросали?

Смоляков вполголоса перечислял имена.

— Тюхов Валентин — это тебе раз... Петька Ясин, закрывши глаза, пойдет. Еще Виктор Кузнецов, Можарова Клава... Ты Можарову знаешь?

В ту же ночь Смоляков и Кожанов побывали на квартирах у романовских комсомольцев. Смоляков говорил с Ясиным и с Кузнецовым, Кожанов — с Тюховым. Иван не ошибся, — никто не колебался, никто не сказал «нет». И только каждый задавал один и тот же вопрос:

— А оружие будет?

— Будет, — хитровато щурился Смоляков. Он знал место, где зарыты автоматы. — На первое время хватит, а потом сами вооружимся... У партизан это закон.

Утром в станице из рук в руки передавали белые листки. Это была первая листовка, которую составили партизаны: «Товарищи, не забывайте, что вы хозяева на своей земле, и не позволяйте немцу становиться на вашу душу. Помните, что хлеб — это ваш хлеб, скот — это ваш скот, и сами вы—свободные люди. Бейте оккупантов!»

Кто-то разбросал листовки на базаре, на церковной паперти, наклеил их на стены полиции. Полицейские яростно соскабливали листовки тесаками. Вечером в станице начались облавы. Приходили и к Смоляковым. Но Ивана не оказалось дома. От Кожановых солдат тоже ушел ни с чем. «Он у брата, на хуторе», сказала жена Кожанова. Солдат перевернул все вверх дном, рассыпал по полу муку, долго вертел в руках детский игрушечный револьвер и потом-таки сунул его в карман, взял со спинки кровати платок и ушел. Когда он выходил со двора, с ним заговорил неизвестный человек. Он пошел рядом с солдатом, дал ему прикурить. Солдат самоуверенно отвечал случайному попутчику. А когда они завернули за угол, удар ножа свалил солдата с ног. Солдат остался лежать на дороге в пыли, с перерезанным горлом. На другом краю станицы в полночь коротко треснул выстрел, и с обрыва головой вниз свалился полицейский—предатель, продавшийся немцам за деньги и водку.

III

Часто Иван наведывался на хутор Погожев к знакомой девушке Клавдии Можаровой. Радуясь этим встречам и волнуясь за Ивана, Клава говорила ему:

— Ой, уходи, Ваня! Улетай, пока крылья тебе не связали.

— «Улетел бы я далече, только крылья не несут», — отговаривался он словами шуточной песенки.

Он пел хорошо и любил петь. Вечерами в хату набивались хуторские парни и девушки — приходили подруги Клавы, друзья и знакомые Ивана. Подперев ладонью голову, Иван заводил свою любимую — «Метелицу». Голос у него был чистый и, казалось, исходил он из самых глубин души. Часто Иван на полуслове обрывал песню. Расстегнув ворот рубахи, словно она его душила, он говорил:

— Русская песня! Люблю все русское, люблю каждую травинку, каждый кустик, каждый бугорок в степи. Не могу, не могу терпеть...

В нем билась буйная сила, она не давала ему покоя. Подсев поближе к парням и девушкам, он начинал шептать жаркие слова:

— Надо, чтобы земля горела у них под ногами, чтобы за каждым курганчиком их ожидала смерть, чтобы страх поселился у них в душах... Ну, чего зажурились, ребята?

И вдруг напамять начинал читать отрывки из жизни Павла Корчагина. Увлекался сам, увлекал слушателей. Голос его звенел молодо и отважно. Клава, оглядываясь на закрытые ставни, просила:

— Тише, Ваня, ради бога тише!

— Да на своей земле мы или нет? — стукнув кулаком по столу, говорил он.

— На своей, Ваня, на своей, — соглашалась она. — Но сейчас нельзя напролом... Сейчас надо исподволь, незаметно...

— Выходит, кроты мы, Клава?

— Нет, не кроты. Кроты — они слепые, а мы видим, куда идем. Мы видим свет перед глазами, хотя и ночь нас обступила, Ваня.

Иван был молод, неопытен. Трудно было ему привыкнуть к тому, что нужно скрываться, прятаться от

людских глаз, утаивать свои чувства. Это было противно самой его природе, открытой и прямой. Ему было трудно привыкать к конспирации, но он ломал себя, как мог.

Заполночь, когда гости уходили, в хату один за другим сходились партизаны. Их впускали после условного стука. Первым всегда приходил Василий Кожанов, за ним Ясин, Тюхов, Кузнецов. Клава прикручивала свет в лампе. Комсомольцы рассаживались вокруг стола. Смоляков превращался в твердого и требовательного командира. Он спрашивал у каждого отчет за день, спрашивал обо всем: сколько в станице солдат и сколько из них румын и немцев, в каких хатах они квартируют (Иван отмечал крестиками эти хаты у себя на плане станицы), сколько танков и какая возле них охрана, кто продался немцам, пошел служить в полицию, кто арестован, расстрелян, убит. Он интересовался всем: о чем говорят женщины на рынке, сколько машин с зерном ушло на станцию. Все это Иван аккуратно записывал в свою книжечку и рядом со столбиками цифр, фамилий и дат ставил одному ему понятные отметки. Потом он давал комсомольцам новые задания, и тогда становились понятными птички и крестики, которыми Иван отмечал квартиры немцев на карте. По ночам в окна этих домов летели гранаты; станица и окрестные хутора просыпались от взрывов; немцы поднимали беспорядочную стрельбу и с криками «партизаны!» метались по улицам.

Иногда он сам пробирался в станицу. В эти часы Александра Никифоровна жила в страшном волнении.

— Полно, мама, успокойся, — говорил Иван. — Ну, хорошо, даже если меня схватят, арестуют, в чем они меня обвинят? Спросят, зачем остался? Скажу, не захотел от немцев уходить. Им это даже приятно будет. Но смотри, мама, если когда тебя потянут и спросят обо мне, говори: «Ушел на хутор Потапов к агроному за хлебом». Слышишь, мама?

— Слышу, Ваня, все слышу, — сквозь слезы говорила она. — Ты уж и меня в свои партизаны записал.

С некоторых пор ей стало казаться, что за их домом следят. Ночами ей чудились шаги во дворе. Она выглядывала в окно и видела тень, шмыгавшую за скирду. Днем мимо окон их дома часто прохаживался незнакомый человек в стеганой кацавейке. Александра Никифоровна сообщала о своих опасениях сыну, но Иван отмахивался с уверенностью молодости.

— Это тебе во сне чудится, — смеялся Иван.

— Ох, не сплю я, не сон это, Ваня, — говорила Александра Никифоровна.

Он стал осторожнее, приходил реже, оставался ненадолго, но все-таки не уберегся. Однажды в полночь, когда Иван только что пришел с хуторов и мать, накормив, уложила его спать, в дверях забренчала щеколда. Иван бесшумно спрыгнул с печки на пол. Охваченная тревогой, Александра Никифоровна подошла к двери. Тонкие дверные переборки сотрясались от глухих, тяжелых ударов.

— Открывай, старая ведьма! — раздался за дверью пьяный голос.

Александра Никифоровна узнала голос Арькова. Ему вторил другой, незнакомый:

— Матка, матка, открывай, будем стрелять.

Александра Никифоровна стояла возле двери, словно оглушенная по голове чем-то тяжелым. Ее вывел из этого состояния шопот Ивана.

— Открой, мама, не бойся, — услышала Александра Никифоровна шопот сына.

Дрожащими руками она отодвинула засов. Поток лунного света ворвался в хату. На пороге стоял Арьков; за ним вырисовывался темный силуэт человека в каске.

— Где сын? — схватив Александру Никифоровну за кофту и рванув ее к себе, прохрипел Арьков.

— Я здесь, — выступая из-за спины матери, громко сказал Иван. Он взял руку Арькова и, сжимая ее, как тисками, оторвал от груди матери.

— Ваня... — простонала она, прислонившись головой к дверному косяку.

IV

Он стоял перед ними со связанными за спиной руками, испытывая страшную боль в правой руке. С детства она не разгибалась у Ивана, а сейчас, ломая сустав, ее загнули назад и туго прикрутили проволокой к левой руке. Желтые круги плыли перед глазами Ивана. Он напрягал все силы, чтобы не упасть.

Напротив за столом сидел комендант, по правую руку от него — Арьков, по левую — переводчик.

Это был уже третий допрос за ночь, и продолжался он четвертый час.

— Партизан? — словно дятел, долбил комендант все одно и то же слово.

Смоляков смело смотрел на него бесхитростными глазами.

— Ну, какой я партизан? — говорил он. — Куда мне с моей рукой, инвалиду! Я и стрелять-то не могу...

— Овечкой прикидываешься? — вмешивался Арьков. — Почему не ушел? Почему в районе остался? Задание получил? Говори, гадючий выползень!

Смоляков бледнел, в глазах его вспыхивали огоньки, но он, прикрывая глаза синими, опухшими веками, отвечал:

— Какое задание? Как перед отцом говорю: не причастен я, господин атаман. А в районе остался не только я. Вы вот тоже остались. Немцев мне нечего было бояться.

— Что он говорит? — спрашивал комендант у переводчика.

Тот переводил ему слова Смолякова. Комен-

дант с интересом смотрел на этого большого, курчавого парня. Хитрит он или на самом деле такой? Когда его били, он ни разу даже не застонал. А били его в камере долго, пиная тяжелыми солдатскими сапогами. Немец дивился стойкости, с какой арестованный переносил побои. Он и на третьем допросе говорил то же, что на первом.

— Хорошо, — сказал комендант. — Вы назовете нам фамилии коммунистов и комсомольцев, и после этого я прикажу вас освободить. — Комендант раскрыл тетрадь, приготовил карандаш.

«Вот куда ты гнешь», мелькнуло в голове у Ивана. Он молчал, собираясь с мыслями. Комендант, согнув бычью шею, выжидающе смотрел на него, пробуя пальцем острие карандаша.

— Коммунистов я не мог всех знать: я ведь к комсомолу отношение имел, а тех, кого знаю, господин атаман тоже должен знать. Он ведь местный житель. А что касается комсомольцев, — разве я могу каждого запомнить? Списки нам приказали перед эвакуацией спалить. Но все же я могу назвать...

— Ну?... — нетерпеливо сказал комендант.

Смоляков назвал две фамилии. Он хорошо знал, что один из названных им полгода назад выехал из района, а другой умер за месяц до эвакуации.

— Ты что нам мертвых вспоминаешь? — сорвался с места атаман. — Ты живых, живых назови! — Схватив Смолякова за горло, он, точно клешнями, душил его жесткими пальцами. У Смолякова только чуть дрогнули веки. Как хотелось ему плюнуть в это жирное, помятое лицо, но он сдержался.

— Живых? Что ж, можно и живых. Знаю я одну комсомолку...

Он в упор глянул в глаза атаману, приготовившись сразить его одним ударом. Смоляков знал, что дочь

атамана в прошлом была комсомолкой. Арьков скрывал от немцев былую принадлежность своей дочери к комсомолу, оберегая свою репутацию антисоветского человека. Он понял намек Смолякова, и пальцы его сами разжались на горле Ивана. Побледнев, он повернулся к коменданту.

— Дозвольте, господин фельдфебель, я сам его допрошу. У меня он живо заговорит...

«Понял, сука», с брезгливостью глядя на атамана, подумал Смоляков.

Арьков увел Ивана в соседнюю комнату и прошипел со злобой:

— Гляди, Смоляков, лучше добром признавайся! Позовем мать и при ней тебя будем спрашивать. Гляди, хуже будет.

— Ваша власть, господин атаман, зовите. Только я к партизанам непричастен. Чего бы ради я тогда дома оставался? Степь большая, балки, хутора, лесочки — много их раскидано кругом, есть куда скрыться. Зря вы меня допытываете, господин атаман, я правду говорю.

— Прикидываешься, знаю я тебя, — хрипел Арьков.

Десять суток подряд то Арьков, то комендант допрашивали Смолякова. Избитого приносили его с допросов в камеру и бросали на пол. Он приходил в себя, с трудом приподнимался, садился, прислонившись боком к стене. Мысли одна за другой хороводом кружились в голове.

«Как там Вася, Клава, другие? Не послушал мать, правду она говорила, не поберегся. Болит, все болит внутри. Сволочи, сколько хотят пусть бьют, — все равно не скажу. Не проговориться бы во сне или в бреду. Ненавижу я их, ненавижу!»

Он скрежетал зубами, выплевывая их вместе с кровью. Горела рука, кровь стучала в голове короткими, тугими толчками, стены камеры плыли перед глазами, и Смоляков впадал в забытье. Он не знал, во сне или наяву

видит он степь — беспредельную, желтопламенную донскую степь, с детства близкую и родную; курганы, венчающие ее на горизонте; далекую голубую зыбь за черной кромкой леса; подернутый солнечной чешуей Дон. Ему казалось, что он плывет по Дону на спине, устремив взгляд в небо, и тугие волны упруго подбрасывают, прибивают к берегу его легкое, невесомое тело. Но это его снова полицейские волокли за ноги на допрос, и тяжелая голова Ивана безжизненно билась об пол.

И опять он стоял перед комендантом, напрягая сознание, волю, призывая на помощь все свои силы. И он повторял на допросах одно и то же.

— Непричастный я... Ну, какой из меня партизан? Остался потому, что многие оставались...

Комендант устал. Он все больше проникался убеждением, что Смоляков и на самом деле не имеет отношения к партизанам. Его ни разу не удалось поймать на противоречии, как тонко ни раскидывал сети комендант. Очевидно, он и на самом деле невиновен, и время потеряно даром на эту пустую, никчемную возню. Комендант думал так еще и потому, что партизаны в районе продолжали действовать с каждым днем все смелее. Каждый день в огородах находили задушенных немецких солдат; по ночам на проходящие машины совершались нападения; сраженные выстрелами из-за угла, падали старосты и полицейские; рушились под танками мосты, кто-то искусно перепиливал сваи. И все эти действия направляла чья-то одна воля, и уж, конечно, не воля этого курчавого парня, который сидел взаперти. Мог ли знать комендант, что партизаны работали по заданиям, которые они получили от Смолякова на много дней вперед, что именно он продумал каждую деталь, что он является вдохновителем всех нападений и смелых вылазок неуловимых партизан?

Комендант решил прекратить возню со Смоляковым.

Он вызвал к себе Арькова и сказал ему об этом.

— Убрать? — с готовностью спросил Арьков.

— Не-ет... — Комендант покачал головой, помедлил с ответом. — Это всегда можно успеть. Опять скажут, что мы... палачи. — Он поморщился. — Пускай идет, а смотреть за ним надо...

И Смоляков очутился на свободе. Ясным утром он вышел из тюрьмы и остановился у ворот, на миг ослепленный брызнувшими в глаза снопами лучей. Он запахнул старенький пиджачишко и пошел по улице, прихрамывая, не оглядываясь, чувствуя на своей спине взгляды врагов.

V

Он заглянул домой, чтобы повидать мать, и тотчас собрался итти на Погожев.

— Прощай, мама, помни: будут спрашивать — ушел в Потапов.

— Не забуду. На гибель идешь, Ваня?

— Погибать, мама, так в бою...

К утру Иван добрался до Погожева. Постучал условным стуком.

— Кто такой? — спросил девичий голос.

— Клава, тетя Поля, не признали?

Клава увидела его, бросилась к нему, повисла на шее.

— Живой, милый, а мы уже похоронили тебя!..

— Наша смоляковская порода живучая, — сказал он, усмехаясь. — Ну, что у вас, где Василий, где остальные? — Он забросал ее вопросами.

— Пока все живы-здоровы. Сейчас они на хуторах. Везде каратели шныряют, облавы каждую ночь. А как ты, Ваня? Били они тебя?

— Всяко было, Клава. — Иван уклонился от прямого ответа. — После расскажу. А сейчас бы поесть. Голоден, как волк.

Она налила ему щей, поставила кувшин с молоком. Он поел, развеселился, шутил.

Вдруг он сразу стал серьезным, и лицо его сделалось жестким и злым. Таким его Клава никогда не видела.

— Знаешь, Клава, я думаю: может, даже хорошо, что я у них в тюрьме побывал. Для ненависти моей хорошо.

Клава накормила его, и он рассказал ей обо всем, что пережил, что видел: как в немецкой тюрьме увечат людей на допросах, как зверствуют комендант и полицейские, как умирают в камерах от голода и от побоев пленные красноармейцы. И, по мере того, как Иван рассказывал, лицо его темнело, а глаза загорались недобрым огнем.

— Никогда, никогда я им этого не прощу! — сказал Иван.

Он стал собираться на хутора, к ребятам. Перед уходом поручил Клаве сходить на секретную квартиру к своему человеку и взять у него последние сообщения Советского информбюро, принятые подпольной радиостанцией.

— Вчера ко мне приходила мать Тюхова и требовала, чтобы я ей указала, где ее сын. Грозила коменданту донести, — сказала Клава, провожая его.

Иван помрачнел. Он знал о связи матери Валентина Тюхова с атаманом и не ждал ничего доброго от этой женщины. «Послал же бог Валентину такую мать», — думал Иван. — Но кто же мог указать Тюховой квартиру Клавы, где собирались партизаны? Кто знал о существовании этой квартиры?» Иван перебирал фамилии, искал в памяти человека, который по болтливости или же умышленно выдал секретную явку. Внезапно подозрение закралось ему в сердце. Кроме партизан, об этой явке знал еще один человек, который сначала вызвался работать в отряде, но потом стал всячески сторониться партизан. Перед эвакуацией ему было поручено спря-

тать в надежном месте оружие и продовольствие для партизан. А потом он заявил Смолякову, что забыл место, где зарыт склад, хотя хорошо знал, что партизаны испытывают острую нужду в оружии.

Иван спросил у Клавы, не говорила ли ей Тюхова, кто ей указал на Клавин дом.

— Говорила, — ответила Клава и назвала фамилию того самого человека, о котором только что думал Иван.

Сомнений не было. Оставалось только выяснить, что здесь — простая болтливость или же злой умысел. Иван ставил в связь события, факты, поступки и приходил к убеждению, что это не легкомыслие, не болтливость, а черное предательство. «Ах, гадина!» с брезгливостью подумал Иван.

Он сказал Клаве, что, если этот человек придет и будет что-нибудь спрашивать, она никого не видела, ничего не знает.

— Поняла, Клава?

— Поняла.

— Ну, до скорой встречи...

Они обнялись.

VI

Иван ушел на хутора, на одну из секретных квартир, встретился с товарищами и рассказал им о предателе.

Они сидели во флигельке, на колхозном полевом стане, обдумывая сообща, что предпринять. Надо было срочно менять все явки, все пароли, заводить новые убежища. Все это было очень трудно. Окрестные хутора кишели солдатами и полицейскими. Они обыскивали все хаты, стерегли дороги, караулили в камышах, левадах и лесочках.

Оставалась только эта квартира — на отдаленном полевом стане, но предателю была известна и она. Каждую минуту он мог навести ищеек на след.

— Что делать? — спрашивали Ясин и Тюхов.

— Что делать? — переспросил Смоляков. Он казался самым спокойным из всех. — Переменить явки, адреса, уйти на другую окраину района.

— А пока? Сейчас? Сегодня? Ведь могут нагрянуть и на эту квартиру, — сказал Кожанов.

— Да, могут... И... надо быть на-чеку...

Иван не успел договорить своих слов. У стоявшего возле окна Ясина с губ сорвалось тихое восклицание. Все быстро глянули в окно. С бугра к полевому стану спускались всадники. Они быстро приближались, окружая флигелек, в котором сидели партизаны. Комсомольцы бросились к другому окну. Автомашина с пехотой уже въезжала на бригадный двор.

— Окружены? — тревожно крикнул Ясин.

— Автоматы к бою! Приготовить гранаты! — приказал Смоляков.

Партизаны замерли возле стен. Конский топот рассыпался вокруг флигельков, послышалась румынская и немецкая речь, и тяжелые шаги загремели в сенях. Распахнулась дверь, и на пороге показался румынский офицер.

— Огонь! — скомандовал Смоляков.

Три автоматных очереди ударили одновременно. Румын, как подкошенный, рухнул на порог, за его спиной упал другой. На одно мгновение атакующие пришли в замешательство. Этим воспользовался Смоляков. Он вышиб плечом раму, выскочил во двор и закричал:

— Рота, за мной!

Из другого окна выпрыгнул Кожанов.

— Автоматчики, пулеметчики, огонь! — скомандовал он.

Партизанские автоматы ударили длинными очередями. Смоляков стрелял в упор по шеренге кавалеристов, которые еще не успели спешиться. Лошади стали ме-

таться по двору, сбрасывая всадников. Среди врагов началась паника. В наступивших сумерках они не могли видеть силы противника и стали разбегаться во все стороны. Их неумолимо преследовал огонь из автоматов. Партизаны забросали гранатами автомашину. Ясин с Тюховым забежали за скирду и оттуда ударили по врагам с тыла.

Бой закончился. Враги бежали. На бригадном дворе остались вражеские трупы, ворох трофейного оружия, десяток добрых лошадей с седлами и несколько бричек. Смоляков снял с убитого офицера сумку с картами и с документами. Когда все снова собрались, он развернул большую немецкую карту перед партизанами. Комсомольцы увидели на карте отмеченный красным флажком Сталинград и черную дугу, замкнувшуюся вокруг города. А вокруг этой дуги сжималась другая — красная.

— Это наши! — подняв на товарищей посветлевшие глаза, сказал Иван. — Немцы в Сталинграде окружены.

Иван прислушался, за ним прислушались все. Где-то в отдалении, заглушенная расстоянием, погромыхивала канонада. Она раскатывалась по небу, как вешний гром.

— Мы должны ударить с тыла! — сказал Смоляков. Он склонился над картой района.

— Здесь дамба, здесь мост, здесь склад со снарядами. Это взорвем, это зажжем, это заминируем. Ясно?

— Ясно, товарищ командир! — ответили все в один голос.

VII

После ухода Ивана на хутора Александра Никифоровна не имела от него вестей. Она отнесла в Погожев харчи, хотела расспросить Клаву, но не решилась завести об этом речь, а девушка не была расположена к разговору. Александра Никифоровна по ее лицу поняла, что она тоже беспокоилась за судьбу Ивана и тоже жила в предчувствии какой-то близкой неотвратимой

беды. Но свои чувства Клава умела прятать за внешним спокойствием, и чужому глазу трудно было проникнуть в ее душу. Однако Александра Никифоровна чутьем женщины и матери все поняла даже из тех немногих слов, которыми успела обменяться с Клавой. В словах Клавы, в ее жестах, в глазах, в интонации голоса, когда она говорила об Иване, было столько скрытой, застенчивой ласки и теплоты, что Александра Никифоровна не могла ошибиться.

«Любит она его, — подумала старая женщина. — Да и можно ли его не любить?»

В самом деле: можно ли было не любить ее Ивана? Перед глазами Александры Никифоровны из туманной дымки выплывало лицо ее сына — ласковое, простое. Она видела его глаза, освещенные каким-то внутренним, влекущим к себе светом, его улыбку, в которой было столько жизни, столько искрящегося веселья. Ее Ванюша был самым любимым из всех восьмерых. Она ничего худого не могла сказать о других своих детях: все ее дочери были ласковые и сердечные, все сыновья, что воюют сейчас на фронтах против немца, любили ее настоящей сыновней любовью, но все-таки у Ивана была какая-то своя, особая любовь к ней. В то время как все дети, ставши взрослыми, разлетелись из гнезда в разные стороны и напоминали о себе только письмами, посылочками, деньгами, Иван один не покидал матери и, куда бы ни забросила его судьба, всюду возил ее с собой, берег ее, согревал ее старость.

Вспоминая все это, Александра Никифоровна украдкой смахивала слезу. Нет, во всем он какой-то особенный, не похожий на других. Он и в детстве был таким. После того, как умер муж Александры Никифоровны, у нее на руках осталось восемь детей. Ох, и трудно же ей пришлось, билась она в нужде, как попавшая в густую сеть рыбина, билась и не находила выхода.

Чтобы помочь матери, Ваня нянчил своего младшего братишку Петю и меньшую сестренку Олю. И ни разу мать не услышала от него упрека или жалобы на то, что ему приходится возиться с братишкой и сестренкой.

Он ни разу за все свое детство не пожаловался на товарищей, хотя часто приходил побитый, в синяках. По натуре он был забияка, а справиться со своими противниками не мог: мешали правая рука и правая нога, на которую Ваня чуть заметно припадал от рождения. И тем не менее среди своих сверстников он всегда был самым первым — и в играх, и на речке, и в ночном, и на лобогрейке. Одной рукой он умел ловко запрягать лошадей и управлять вожжами не хуже взрослого. В школе Ваня тоже был первым, несмотря на то, что бегал на занятия в рваной шубенке и вынужден был пользоваться учебниками своих товарищей. Каждый год он успешно переходил из класса в класс, с отличием закончил семилетку, десятилетку, поступил в институт и уже прошел два курса, но потом началась война и оторвала его от учебы.

Встревоженная плохими известиями с фронта, мать часто спрашивала сына:

— Что же это будет, Ваня? Неужто немец победит?

— Что ты, мама, — с упреком отвечал Иван. — Разве ж это может быть? Разве Россию, русский народ можно победить?

Александра Никифоровна вспоминала все это, и сердце ее сжималось тревогой за сына. Она слышала, что его ищут, что по хуторам идут облавы, что полицейские сбились с ног, рыская по следам партизан. Эти поиски не приносили им успеха, и Александра Никифоровна радовалась, что Иван стал таким осторожным и его так просто, голыми руками, не возьмешь. «В рубашечке родился, сохрани тебя господь, Ванюша», молилась она.

Она ждала, что ее призовут к ответу и спросят о сыне, ждала и готовилась к этому, думала о том, что ей надо будет не дать провести себя врагам, надо будет перехитрить их — злобных, коварных, желающих смерти ее сыну. «Пусть зовут — отвечу, он потом не постыдится за меня», думала Александра Никифоровна.

И ее позвали, даже не позвали, а схватили и поволокли — старую, семидесятилетнюю. Выламывая руки, привели ее в полицию на допрос.

— Где сын? — грубо спросил у Александры Никифоровны немецкий комендант.

Она стояла перед ним, худенькая, сухонькая, беспомощная, но сильная своей неизбывной любовью к сыну. Она прямо посмотрела немцу в глаза и простодушно ответила:

— Сын? А на Потапов ушел, к знакомому агроному. Он нам деньги должен, а теперь хлеба обещал. Мучица-то вся вышла.

— На Потапов? — недоверчиво переспросил комендант.

— На Потапов. Да он, должно, скоро вернется.

Комендант кивнул своему помощнику, и тот с двумя полицейскими помчался на Потапов. А старуху посадили в холодную камеру, в ту самую, где раньше сидел ее сын. Она узнала об этом по размашистой выцарапанной ногтем надписи на стене: «Иван Смоляков». Ночью Александру Никифоровну снова повели на допрос. На этот раз вместе с комендантом ее допрашивал Арьков.

— Ты что же, старая ведьма, обманываешь нас? Ишь, божья коровка! На мякине хочешь провести? Знаем вашу породу: сыночек тоже такой, теленком прикидывался! — кричал атаман.

— Сын сам по себе, а я сама по себе, — тихо ответила Александра Никифоровна. — Я всю правду сказала.

Тогда комендант кивнул головой полицейским. Они сорвали с матери платье и стали ее, старую и слабую,

гонять плетьми по кабинету в одной рубашке. Она все сносила молча и ни разу не проронила стона, так же, как и ее сын.

Ее по нескольку раз в ночь водили на допрос. Комендант стрелял над ее головой из револьвера, ее избивали, но она продолжала отвечать так же, как отвечала в первый раз:

— Ушел на Потапов, к агроному. Не знаю... Сын — по себе, а я — по себе...

Александра Никифоровна сидела в одной камере с пленными красноармейцами; их жестоко избивали полицейские. Для каждого пленного она находила теплое слово участия. Все они казались ей сыновьями, и каждого из них ей хотелось согреть своей лаской.

Вместе с Александрой Никифоровной была арестована жена Василия Кожанова. Ее тоже избивали. Приходя в камеру после допросов, она плакала на груди у Александры Никифоровны.

— Плачь, милая, плачь. Это им, мужчинам, нельзя и мне, старой, а тебе можно. Поплачешь — и легче станет...

Однажды полицейские втолкнули в камеру нового арестованного — романовского казака, и он-то принес Александре Никифоровне страшную весть:

— На хуторе Богучаре партизан захватили.

— Кого? — так и бросилась к нему Александра Никифоровна.

— Гуторят, Кожанова и Смолякова. Люди видели, как их на подводе везли. Гуторят, били очень. Всю дорогу били. Смоляков у партизан заглавным вожаком состоял.

— Ваня, Ванюшенька, — шептала Александра Никифоровна помертвевшими губами.

Вскоре ее снова вызвали к коменданту. В комнате был и атаман Арьков.

— Ну, старуха, уноси отсюда ноги, покуда живая!

Ты нам сейчас без надобности. Схватили мы твоего соколика, сидит он у нас с перебитыми крылышками...

Шатаясь, Александра Никифоровна вышла в коридор, молча прошла мимо полицейских. Взгляд ее скользил по дверям арестантских камер. За какой-то из этих дверей томится и он, ее сын.

Окошечко в дверях одной из камер было открыто. В светлом квадрате мелькнуло знакомое лицо — черное, избитое лицо Ивана. Она узнала бы его из тысячи других по одним только глазам, по густым кудрям, которые она так любила расчесывать ему деревянным гребнем.

— Ваня! — бросилась Александра Никифоровна к оконцу. — Ванюша, кровинушка моя!

Он кинулся к двери. Руки его были связаны за спиной. Он упал на колени, но все же сумел подняться и припал к окошку.

— Мама, ты? Не волнуйся, родная, не плачь. Будешь жива, скажи, что умер за народ, скажи, что до конца...

Дальше она не услышала его слов: полицейские оторвали ее от двери и вытолкали на улицу.

VIII

...Его били, он терял сознание. Его окатывали водой, ставили на ноги, снова били, но он односложно отвечал:

— Не знаю. Не помню. Не видел. Не встречал.

Тогда к нему одного за другим подводили товарищей: Ясина, Тюхова, Кожанова.

— А этого видел? Этого знаешь? — спрашивал комендант.

— Нет, не знаю. — Он отрицательно качал головой, облизывая сухие разбитые губы.

И снова его начинали бить то плетью, то рукояткой револьвера.

— Еще! Еще! — кричал комендант.

С полицейских струился пот, они тяжело дышали, руки их болели от усталости. И это разжигало в них новую злобу к человеку, который под их ударами не хочет сказать того, чего от него требуют. Полицейские вкладывали руки Смолякова между дверью и притолокой и начинали медленно закрывать дверь. Дробясь, хрустели кости... Смоляков повисал на руках палачей. Его опять обливали водой и опять ставили перед комендантом. Он попрежнему молчал, только глаза из-под затекших век пылали огнем.

Тогда, чтобы заставить его заговорить, у него на глазах избивали товарищей — Ясина, Тюхова, Кожанова. Он смотрел на их страдания. Ему было легче, когда били его самого. Кожанов молчал. Выбитый полицейскими глаз висел на его щеке на кровавой ниточке. Русокудрый Ясин молча качался под ударами, как молодой кленок. Тюхов жалобно, по-детски, всхлипывал, но не обмолвился ни одним словом.

Сердце Ивана рвалось на части от любви к товарищам, которые вместе с ним молча терпели кровавую муку перед лицом врагов...

В ночь под двадцать девятое декабря Смолякова в последний раз вызвали на допрос.

— Или ты будешь говорить, или...— Комендант выразительно хрустнул пальцами. — Ты слышал, что я сказал?

Смоляков сделал два шага вперед и вдруг, посветлев глазами, повернул голову к решетчатому окну и сказал:

— А это ты слышал? Слышал, немецкая сволочь?

В окно явственно доносился орудийный гул. Он неотвратимо приближался к станице.

По знаку коменданта полицейские сбили Смолякова с ног и стали топтать его сапогами.

...На рассвете их поволокли на казнь. Они не могли итти, и полицейские, привязав веревки к их ногам, тянули за собой безжизненные тела, направляясь вниз, к

Дону. Ясин и Тюхов умерли от побоев еще ночью. У Смолякова глаза были закрыты, но жизнь еще теплилась в его теле. Он слышал поскрипывание снега под ногами полицейских и тяжелое хрипение Кожанова.

Их приволокли к Дону, к узкой, квадратной проруби, и стали раздевать. Смоляков открыл глаза, поднял голову и увидел высокое чистое небо и розовую полоску зари. Он приподнялся на локте и в последний раз окинул глазами раскинувшийся перед ним мир. Солнце всходило из-за леса, сверкал закованный льдом Дон, и все вокруг блестело, искрилось. Блестели в лучах солнца кусты краснотала, заиндевелые кровли казачьих куреней, жемчужно мерцал выпавший ночью снег. Утро было наполнено нежным, радостным звоном. Этот звон отдавался в сердце и звучал все громче и громче...

— Прощай, родина! — громко сказал Смоляков.

Полицейские ногами столкнули его в прорубь...

★

Когда в станицу пришла Красная Армия, по следам крови возле проруби нашли страшную могилу комсомольцев и подняли их из реки. На снегу плечом к плечу лежали пять обледеневших трупов. Пятой была женщина, казачка Шмутова, хранившая у себя оружие романовских партизан и казненная в одно утро с комсомольцами. У Василия Кожанова вместо глаз зияли черные провалы, горло было проколото штыком, а руки скручены на спине железной проволокой. Валентин Тюхов лежал с неузнаваемым багровым лицом, широко раскинув перебитые руки. У Петра Ясина был раздавлен череп.

Вторым слева лежал Иван Смоляков, исколотый штыками, с разбитой головой, с черным лицом. Правую руку он прижал к груди, левую поднял вверх, сжав в кулак.

Этот последний жест героя был словно призывом к мести.



Цена 85 коп.